

Юлия, или Встречи под Новодевичьим

Ольге — спутнице дней моих — посвящаю эту книгу

12 апреля 1827 года

Бесспорно, господин Менго должен почитаться одним из чудес современного мира!.. С тех пор как он появился на поприще бильярда, все законы Эвклида и Архимеда рассеялись, как дым.

Ударенный шар вместо абрикولة бежит по кривой; шар, на вид едва тронутый, касается борта, отлетает от него с неожиданной силой и делает круазе от трех бортов в угол.

И только представить себе, что разгадкой сему необычайному волшебству — всего-навсего незначительный кусочек кожи, прикрепленный к кончику кия, усовершенствованного господином Менго.

Отныне для совершенного игрока нет более невозможной билии. Одухотворенные шары...

Впрочем, я должен рассказать все по порядку...

Как только стало известно, что господин Менго, или, как он пишется по-французски — Mingaud, уже приехал из Варшавы и остановился в номерах Шевалдышева, все почитатели его таланта собрались в бильiardных залах Купеческого собрания... Наш ментор и ценитель Роман Алексеевич Бакастов, маркер сего почтенного клуба и достойный преемник непобедимого Фриппона, уверял в возбуждении, что французу против Протыкина не вытянуть. Молодежь, наскучивши ожиданием, сбилась в углу диванной, где конногвардеец Левашов, только что вернувшийся из Санкт-Петербурга, утверждал превосходство Вальберховой над московскими артистками, чем заставлял багроветь шею майора Абубаева...

А сам герой дня, мой приятель Протыкин, красный от волнения, делал шар за шаром, разминая мастерскую руку.

Менго заставил себя ждать изрядно. Когда терпенье наше было на исходе, он появился в сопровождении старшин и в напыщенных словах, любезных до приторности, сообщил, что за дорожной усталостью играть сегодня не в состоянии и просит разрешения быть на сегодняшний вечер простым наблюдателем московской игры, знаменитой на его родине еще с 1813 года и *si presieux, si delcieux*.

Ропот возмущения был ему ответом.

Несколько горячих голов, столь же мало учтивых, как и мало взрослых, требовали, чтобы маэстро, столь осторожный в отношении своей славы, просто без игры показал хотя бы один из своих столь прославленных ударов.

Надо думать, что я, разгоряченный долгим ожиданием, выделялся своим чрезмерным волнением среди негодующей толпы, потому что господин Менго именно ко мне обратился, прося меня сделать ему одолжение и разбить первым шаром белевшую на бильiardной зелени пирамиду, заботливо поставленную Бакастовым.

Вся кровь прилила у меня к голове и дрожали руки от неожиданности той роли, которая была на меня возложена. Пятнадцать шаров двоились в моих глазах. И хотя я и хотел из любезности расшибить пирамиду вдребезги — рука дрогнула, едва не вышел у меня кикс. Желтый ударился в правый угол и отбил только три шара.

si presieux, si delcieux. такой захватывающей, такой великолепной (франц.)

«Parfaitement!» — сказал Менго, взял кий, и разом все стихло кругом.

Мне было досадно за свою неловкость, и я к тому же почему-то обозлился на наглый тон француза. Однако вместе с другими впился глазами в кончик его кия.

В гробовой тишине послышался сильный, четкий и необычайно низкий удар. Шар стремительно рванулся вперед и... пролетел мимо подставленного мною на простой дублет седьмого номера.

Цицианов даже свистнул от неожиданности. Еще момент — и, казалось, менговский биток пойдет писать гусара. Как вдруг, промазавший биток, не доходя двух четвертей до борта, сам по себе останавливается посеред поля, стремительно возвращается назад, четко берет от борта крепко приклеенный шар, делает контр-ку, посылает пятый номер в лузу, а сам вдребезги разносит не добытую мною пирамиду.

Рев восхищения был наградою гению биллиарда.

Менго, побледневший от напряжения, как будто бы даже не заметил, что был столь необычно аплодирован, и продолжал делать билию за билией, делая невозможное — возможным, трудное — игрушкой и каждым ударом посылая ко всем чертям все законы математики.

На наших глазах он кладет подряд 15 шаров и в изнеможении падает на кресло.

Мы неистовствуем, а когда успокаиваемся, то ищем свою надежду, своего героя, своего игрока Протыкина, но не находим его.

Его не оказывается также и в соседних залах.

Смущенный Бакастов рассказывает, что после первой же билии француза Протыкин сломал в досаде надвое свой кий и выпрыгнул в окно.

Бросились искать и ободрить его. Обшарили все московские улицы и подходящие места, но тщетно.

Бывают же такие люди, такие колоссы, как Менго!

13 апреля 1827 года

Спешу записать странное событие сегодняшней ночи. Вернувшись домой из Купеческого собрания, я был в страшном волнении, сон бежал от меня, и я писал при догорающих свечах свой дневник, покуда они не погасли.

В голове раздавалось щелканье шаров, и стоило мне закрыть глаза, как проклятые эти менговские шары начинали бегать передо мной.

Проснулся я на рассвете от страшного стука в окно. На фоне красной полосы занимавшейся зари, сквозь запотелые стекла виден был человек, который, наклонившись к окошку, неистово стучал кулаком по раме.

Я вскочил и подбежал к окну.

Это был — Протыкин.

«Ну, брат, и история! — сказал он, влезая в отворенное мною окно. Мадера у тебя есть?»

Всклооченный, с подбитым глазом, с воспаленными от бессонной ночи зрачками, он забился в угол дивана и, выпуская клубы дыма, начал описывать свои похождения.

Из его бессвязных и отрывочных фраз можно было понять, что, придя в отчаяние от первой же билии Менго и предчувствуя полный разгром своей биллиардной славы, Протыкин сломал в отчаянии свой кий, выскочил с подоконника, на котором он стоял, наблюдая игру Менго, в тишину клубного сада и в горести решил выпить как стелька.

Однако в первом же кабаке его взяла такая грусть, что неудержимо потянуло к цыганкам, и он начал искать, не поет ли где Стешка. Однако рок преследовал его и на путях искусства... Степанида с дочерью уехали петь в Свиблово к Кожевникову и увезли с собою

чуть ли не все московские таборы. Осталась одна надежда на последнее убежище всех допившихся до белых слонов гусаров — Маньку-пистон, которая, как рассказывали у нас, года два назад своей разухабистой песней «Разлюбил, так наплевать, у меня в запасе пять» произвела землетрясение на Ваганькове, так как все похороненные там гусары не выдержали и пустились в пляс в своих полусгнивших гробах.

Манька жила где-то в Садовниках. Протыкин уже прошел через Устьянский мост и приближался к старому комиссариату, как вдруг остановился потрясенный.

У самого берега Москвы-реки в круге тусклого света уличного фонаря стояла девушка.

Несмотря на холодную ночную пору, она была в одном платье с открытыми плечами и руками.

В мигающем на ветру свете фонаря Протыкин успел разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Было непостижимо, что она могла делать здесь, в такой час, одна и в таком костюме.

Мгновение они стояли друг перед другом в молчании... Затем девушка протянула ему руку.

Протыкин почувствовал холодное прикосновение тонких пальцев к своей руке, и в тот же миг сильный удар по лицу сбил его с ног вниз, в Москву-реку, и в воздухе зазвенела отвратительная ругань...

Когда Протыкин взобрался наверх, на набережную, девушки не было, и где-то далеко между фонарями бежала, сгорбившись, человеческая фигура...

13 апреля, вечером

День вышел незадачный. Едва успел уйти взволнованный Протыкин и я наскоро записал его ночное похождение, как на двор со звоном влетела вся покрытая грязью данковская воронья тройка, и батюшкин конюший Емельян ввалился ко мне в комнату с батюшкиным письмом в руках.

Письмо наполнило меня грустными воспоминаниями. Батюшка подробно описывал мне гибель гнедого Артаксеркса, который оступился на гололедице и сломал себе ногу... Несчастливого пришлось пристрелить.

Несчастный Артаксеркс! Как приятно бывало, вернувшись весной из душных стен Благородного пансиона к данковским пенатам, вскочить на твою широкую спину и скакать через старые гумна к Елоховскому пруду на водопой.

Могу ли я когда-нибудь забыть маленькую ножку Наташи Храповицкой, ласкавшую твои крутые бока, о Артаксеркс, в памятную поездку на Яблонку... Увы, увы, давно ли это было, а сколько воды утекло с этого памятного дня, и помнит ли теперь графиня Маврос наши детские клятвы. Увы, увы...

Батюшка писал, что для весенних полевых разъездов ему необходимо в ближайшие же дни под верх новую лошадь, могущую столь же легко носить его дородную фигуру, как это делал покойный Артаксеркс. А потому просил купить, не медля, по сходной цене крепкого жеребца, не ниже трех вершков.

Вместе с Емельяном обрыскали мы сегодня все московские конюшни, побывали у всех знаменитых содержателей — англичан и русских... Видели у Банка Доппля от Ковентри и Тритона, а у Джаксона вывели нам самого Тромпетера от Трумпатера. Не лошадь — огонь, рыжий с флагами, но жидковат для батюшки.

Пришлось побывать и на частных конюшнях у Закревского, Давидова и Панчуладзева. Больше всех понравился мне Панчуладзиев жеребец Замир. Бурый в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебяжья с зарезом, голова небольшая, уши острые, глаза навывкате, и оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй; хвост и грива хотя и жестковаты, но в остальном не уступят и самому Тромпетеру. Дороговат, да зато для батюшки лучше и не выдумаешь.

Оставил Емельяна торговаться и кинулся в Купеческое собрание любоваться подвигами Менго. Еще по дороге от скачущего во всю прыть на наемном колибере Тюфякина, нашего первого нувелиста, узнал я о совершенном его триумфе.

Клубские залы были переполнены до невозможности. Среди посетителей мог я отметить немало и бильярдных игроков Английского клуба.

Менго не только делал все билии, но, играя в черед, всегда оффрировал партнеру такие шары, что они либо были накрепко приклеены, либо стояли в труднейшем абриколе.

Когда я протиснулся в бильярдную залу, то француз, не зная, чем еще выразить свое превосходство, заявлял с удара два шара и делал их как простые угольники. Преимущество было настолько велико, что игры, собственно, не было, и даже было неинтересно.

Бакастов попробовал было играть в пять шаров на сплошных киксах, но на третьем же шаре бросил игру.

Протыкина не было, но его похождение было уже известно всем и сверх моего ожидания не вызвало большого удивления, так как за последний месяц Корсаков и Ребиндер хотя и не получали в рыло, но сталкивались с блуждающей дамой.

Все терялись только в догадках, кто она могла быть. Невест, как известно, в Москву из степных деревень привозят одновременно с поросятами к рождеству, а по платью и общему тению она не могла быть мещанкой.

Бакастов, мрачный и раздосадованный проигрышем, крушением всех своих теорий и в еще большей степени распространившейся сплетней, будто его лучший ученик Протыкин еще поутру поступил в обучение к господину Менго, чертыхался и объяснял все дьявольскими происками фармазонов.

Сообразно случаю рассказал он нам про те обстоятельства, при которых дал он зарок более не играть в кегли. Рассказ Бакастова вышел столь достопамятным, что я почитаю за должное записать оный в свою тетрадь.

По его словам, еще будучи мальчиком, служил он у Мельхиора Гроти в вокзале при кегельбане на предмет подавания шаров. В те дни в Москве подвизались иллюминаты и среди них некий барон Шредер.

Случилось быть проездом через Москву гишпанскому полковнику Клепиканусу, большому любителю кегельной игры. В недобрый час побился он со Шредером на крупный заклад против его, барона Шредера, пеньковой трубки, что обыграет его в два счета. Начали играть. Клепиканус с первых же четырех шаров разбивает всю девятку.

«Поставил это я заново кегли для барона, — рассказывал, размахивая руками, Бакастов, — а тот, поди, и шаров-то в руки никогда не брал. Первым шаром промазал, вторым — мимо, третьим — тоже не лучше... Ну, думаю, не видать тебе твоей пеньковой трубки. Только гляжу это я — барон-то наш как схватится за голову да вместо четвертого шара своею собственной бароньей головой по кеглям как трахнет... Только тарарам пошел. Вся девятка влежку. А из воротничка-то у него дым идет. Подбежал это я к кегельбану за кеглями, гляжу, господи боже ты мой, святая владычица троеручица, — вместо кеглей-то человечьи руки да ноги, а голова-то вовсе не Шредерова, а Клепикануса. Оглянулся. Барон Шредер стоит себе целехонек и пеньковую трубку курит, Клепикануса вовсе нет, а гости все от ужаса окарачь ползают».

Рассказ недурен, только надо думать, что Бакастов заливает.

22 апреля 1827

Весь день сегодня опять погубил я на лошадей. Панчуладзев меньше чем за тысячу не отдавал.

Целое утро искал другую лошадь. Даже до цыган доходил. Наконец умолил Петра Григорьевича уступить Замира за восемьсот.

Вечером был на обеде у Долгорукова Юрья Владимировича, прежде бывшего главнокомандующего московского. Хотя многие и говорят, что прежние годы состоял он в

фармазонах, тем не менее старик всегда приветлив, и мрачности в нем я никогда не замечал.

Обед был на 80 кувертов, и я никогда не видывал такого стечения, как сегодня. Мог я отметить Петра Хрисанфовича Обольянинова, нашего предводителя, Александра Александровича Писарева, попечителя Московского университета, Степана Степановича Апраксина, нашего мецената и покровителя московской Талии, а в конце обеда подъехал сам граф Федор Васильевич.

Что бы ни говорили наши зоилы, должен признать, что общение со столь знатными особами возвышает и облагораживает.

Говорили о разном, а больше всего о завтрашнем спектакле «Павильон Армиды», и Шаховской хвастал, что Гюлен-Сорша должна на этот раз превзойти самое себя, особенно в *pas de deux* с Ришардом-младшим.

Протыкинское приключение всех рассмешило изрядно, и острословцы интересовались, какое количество шкаликов довело моего приятеля до замоскворецкой сильфиды; Измайлов даже сочинил экспромт, намекающий, что не только дамы, но и кулака не было, а просто пьяный Протыкин стукнулся лбом о фонарный столб.

Жалко, что не успел я записать эти острые слова.

25 апреля 1827 года

Я задыхаюсь. Я не могу перевести дух. К черту Измайлова, к черту наших скептиков.

Я не брал в рот ни единой капли вина, и я видел ее. Это она, бесспорно она — протыкинская незнакомка!

Было уже близко к полуночи, когда вышел я из Петровского театра, потрясенный воздушными па Гюлен-Сор, которая была аплодирована как никогда.

Мне не хотелось идти домой, и я, желая преобороть свое волнение, пошел бродить по улицам. Была лунная ночь. Редкие облака, гонимые ветром, бежали тенью по московским домикам и заборам.

Не успел я дойти до Каменного моста, как увидел в лунном сиянии медленно идущую девушку. Она была в одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря я мог разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Я сделал несколько шагов в направлении к ней и тотчас заметил сутулую фигуру, ковылявшую в отдалении. Вспомнив печальный опыт Протыкина, я понял, что всякая попытка приближения кончится для меня дракой, и остановился. Между тем девушка заметила меня и также остановилась, протянула мне руки и, как бы призывая на помощь, махала мне платком. Вся кровь прилила у меня к голове, я смерил глазами уже приблизившегося карлика, угрожающе размахивавшего кулаками, и бросился между ними. Увернувшись от предназначенного мне удара, я изо всей силы саданул своего противника в перекосившееся от злобы лицо, но кулак мой... пронзил пустоту, и я растянулся на мостовой.

Карлик захохотал и исчез в темноте, оставив в моих руках драгоценный платок, оброненный незнакомкой. Девушки не было. Пробегав более часа по всем перекресткам — я остановился. Сердце мое билось. Я прижал к груди драгоценный платок и, простояв несколько минут в порывах все более и более крепнувшего ветра, поплелся домой.

Плотно затворил двери и окна своей комнаты. Выкинул всякую чепуху из бабушкиной шкатулки и положил туда данный мне небом залог любви. Забился в уголок дивана и стал курить трубку за трубкой, обдумывая план действий.

Нет мыслей в моей душе, нет дум, и только образ, любезнейший, нежнейший образ витает в моем сердце. Смотрят сквозь стены огромные серые глаза, и пряди пепельных волос стелются по ветру.

.....
Ужас наполняет душу мою, ум теряется, и голова начинает кружиться... Сейчас, желая

посмотреть при свете восходящего солнца завоеванный трофей, подошел к окну, открыл бабушкину шкатулку и в ужасе содрогнулся. Она была пуста, и из ее глубины поднялся какой-то смрад, напомнивший мне по запаху табачный дым английского кнастера. У меня выступил холодный пот, и почему-то вспомнился мне рассказ Бакастова о чертовом кегельбане.

Что же мне делать?

8 мая 1827 года

Более двух недель не раскрывал я своего дневника, да и нечего было писать. Одна досада...

Друзья принимают меня за сумасшедшего, и только Протыкин, прибодрившийся после уроков, взятых им у господина Менго, и восстановивший свою биллиардную славу, — дружески в знак понимания пожимает мне руку.

Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, граня московские улицы... Увы, — без успеха. Я бы давно бросил свои безумства, но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее.

Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел с Ребиндером и Костей Тизенгаузенем в кондитерской Педотти на Кузнецком и бешено спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом петербургской Колосовой... как вдруг остановился на полуслове... На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я опрокинул стол и бросился к выходу... Улица была пуста.

Другой раз я гнался за нею по Полянке. Она заметила меня, обернулась, протянула ко мне умоляюще обе руки и вдруг пропала.

Странно было только, что пропасть-то ей было некуда. И справа и слева тянулись заборы замоскворецких садов, и сколько я ни обшаривал их, нигде не было видно никакой калитки.

Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи.

Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, то же сверкающее ожерелье.

Теперь вот уже более недели я не видал ее. С грустью таскаюсь днем по всем московским кабакам и кофейням и, к ужасу своему, пристрастился к курению табака.

Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубку за трубкой.

Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские и турецкие табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но, втянувшись, нахожу их жидкими. Купив как-то у мадам Демонси английского, с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой Ниренбергской лавке у Пирлинга, состоящей на Ильинке в доме купца Варгина.

Якобсон снабдил меня пеньковыми трубками, и я предаюсь отчаянию в голубых струях голландских табаков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня новости, потрясающие Москву; только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Менго, наделавшем столько хлопот нашему московскому обер-полицмейстеру, добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варька с трелью из Соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре, собираюсь даже в воскресенье двинуть на Смоленский... Может, найду там у старьевщиков.

12 мая 1827 года

Опять я в волнении, опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашел путеводную нить... Однако по порядку.

В поисках за обкурренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на Смоленский рынок в старый ветошный ряд.

Долго рылся я безо всякого успеха среди всякого железного хлама, обломанных рюмок, синих стеклянных штофов и изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книжонка про египетские обыкновения, называемая «Крато репея» и изданная покойным Новиковым.

Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидел на рогоже среди двух сабель, старого патронташа и всякой дряни фарфоровую трубку удивительной раскраски.

На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки зодиака и окружали сверкающий позолотой герб или, быть может, магический пентакль.

Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции.

«Что стоит, хозяин?» — спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока.

«Последняя цена пятнадцать рублей», — заломил он с обычной наглостью.

«Я даю двадцать!» — услышал я голос из-за своей спины.

Обернулся и онемел от внезапной неожиданности. Передо мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковую шаль моей незнакомки.

«Тридцать!»

«Сорок!»

«Пятьдесят!»

«И еще пять!»

«Семьдесят!» — заявил я в азитации.

«Молодой человек, — обратился ко мне карлик. — Будет вам дурака-то валять. Мне эта трубка нужна в непременно, а вам она ни к чему. Давайте, если уж вам так угодно, разыграем ее на орел или решку».

У меня в кармане было немногим более семидесяти целковых, и стоило старику набавить десятку, как я выходил из игры. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться на сделанное предложение.

«Только знаете что, — обратился я к старику, который как будто начал меня припоминать, — не зайти ли нам в трактир и не разыграть ли нам пипочку на биллиарде».

Мне казалось, что я смогу не без выгоды использовать протыкинские уроки.

«Извольте. Почему бы и нет? — усмехнулся мой собеседник. — Как бы только не пришлось вам пожалеть впоследствии, молодой человек».

«Тем лучше для вас! Условимся только, что, ежели мне суждено будет проиграть, вы не откажетесь рассказать, чем, собственно, замечательна эта трубка и почему вы ею дорожите».

«С превеликим удовольствием», — произнес старик, и мы вошли в биллиардный зал трактира.

В прогорклom от табачного дыма воздухе на зеленом биллиардном поле выросла перед моими глазами пирамидка шаров, задрожала в какой-то необычайной отчетливости очертания и тотчас же поплыла в тумане... Мой противник с неожиданной для его хилого тела силою первым же ударом раскатал ее и подставил мне шары под астролябию и простые угольники.

Я взял кий, закусил нижнюю губу и, памятуя протыкинские наставления, стал резать подлужные шары почти на киксах. Раз, два, три... пять билий подряд клал я шар за шаром и только на шестой попал в коробку и пошел гусаром.

«Недурно, молодой человек, совсем недурно для начала», — промолвил карлик, весь как-то надулся до крайности, бочком подошел к биллиарду, прищурил глаз и стукнул по седьмому номеру.

Два раза от борта, круазе и в правую лузу, и притом с такой силой и треском, что все посетители вздрогнули и поспешили к нашей игре, и я сразу почувствовал, что погиб.

«Тэк-с, молодой человек!» — и снова удар в двойное апроше и два шара в лузу.

«Тэк-с!» — и снова чисто сделанный шар.

Кругом стояла стеной восторженная толпа трактирных завсегдатаев, даже толстобрюхий буфетчик, с золотой цепочкой на жилете, и тот вышел из-за стойки и уставился глазами на шары.

«Тэк-с, молодой человек!» — и снова удар, какой-то особенный, снизу, по-карличьему обыкновению. Билия за билией, шар за шаром, и вдруг у меня мурашки забегали по спине. Диковинное движение шаров показалось мне до ужаса знакомым, когда-то совсем недавно виденным, неповторяемым.

Еще момент, диковинный контр-ку в двойной шпандилии, и я не мог уже сомневаться, что передо мной в карликовом облике сам, столь таинственно пропавший, господин Менго собственной персоной.

На меня напала мелкая дрожь и огненные круги завертелись в глазах, когда мой страшный противник под ропот восхищения сделал последний шар и, прищурив глаз, подошел ко мне.

«Так-то, молодой человек! Плакала ваша трубка. В орлянку-то вам было бы куда способнее со мной тягаться».

Трубка была уже в его руках, и он собирался уходить, когда я очнулся от столбняка и задержал его движением руки.

«Послушайте, почтеннейший, трубка бесспорно за вами, но не забудьте, что по нашему уговору она будет вашей только после того, как вы расскажете о ее достоинствах».

«С превеликим удовольствием, дражайший мой, с превеликим удовольствием», — ответил мой страшный собеседник, придвинул стул к моему столу и, прищурив глаз, начал.

«Слыхали ли вы, молодой человек, как в Филях прошлым летом один из курильщиков табака был взят живым на небо?»

На мой отрицательный ответ старик придвинулся ко мне поближе и рассказал удивительную историю. По его словам, в начале прошлого лета неизвестно откуда приехал в Филя какой-то не то француз, не то немец и снял у Феогностова домик на пригорке по дороге к Мазилову.

«Ничего себе, хороший немец, тихий... Только что начали за ним наблюдение иметь; сначала, значит, мальчишки, а потом, когда всякие художества за ним обнаружили, и настоящий народ».

«...настоящий народ» прозвучало у меня в ушах низким фальцетом, и я чуть не упал от неожиданности на пол, передо мной на стуле сидел, оживленно продолжая свой рассказ, уже не карла, а буфетчик из-за стойки. Его щеки в волнении рассказа надувались, золотая цепочка на жилете мерно покачивалась, а сзади, опираясь на спинку стула, стоял страшный миллиарщик, курил трубку и молчал.

Я не мог понять, как и когда произошла эта замена. Почему? Каким образом? В висках у меня стучало, а буфетчик, раскачиваясь, продолжал между тем свой рассказ.

«Стали примечать, что любил, значит, он, немец, в ясный безоблачный день, чтобы ему в садике посеред малинника чай собрали, и выходил он к чаю в синем халате и с трубкой. Садился это, значит, в кресло, набивал трубку табачищем и начинал из нее разные кольца и финтифлюшки из табачного дыма выдувать. Понатужится это немец, и, глядишь, из трубки дымище этот самый вылезает, словно как бы калач, али словно бутылка, али как бусы, а то и незнамо что... Вылезет и кругами ходит, растет, раздувается и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья тучка.

Посидит, бывало, этот немец за чаем часика два и все небо, сукин сын, испакостит. Все небо от евойных облаков рябью пойдет. А раз пропыхтел это он со своей трубкой целый день, и к вечеру из его проклятых туч даже дождь пошел, желтый, липкий, как сопля, и табачищем после этого дождя ото всякой лужи за версту несло... Только ему это даром не

прошло... Уж очень много он из себя этих облаков-то повыдувал, нутро свое израсходовал, и в успенском посту, как раз в пятницу, поднялся это, значит, здоровый ветер, да как этого самого немца со стульчика-то сдует, потому в нем веса-то никакого не осталось, да, как перышко, кверху и потянет. Немец руками и ногами болтыхается... Куда тут, подымает его все выше и выше... Народ собрался; хотели в набат ударить, да только отец Василий запретил святые церковные колокола по такому плохому делу сквернить и высказался, что «собаке и собачья смерть». Так, значит, и пропал немец-то в поднебесье».

«Так вот-с, молодой человек, — сказал на этот раз уже мой страшный противник, отрываясь от трубки и пуская клубы дыма, — эта трубка-то она самая и есть».

Я пришел в оцепенение, не зная, принимать ли слышанный рассказ за чистую монету или за дьявольское наваждение, а карла с хохотом выбежал в дверь.

К счастью, мой столбняк продолжался недолго, и я, выскочив на улицу, успел заметить, как старик повернул налево за угол.

Через минуту я подбежал к углу и заметил вдали сгорбленную спину уходящего вдаль карлика. Я прокрался в тени забора, с бьющимся сердцем выслеживая своего противника, ища найти хоть какую-то нить, ведущую к прелестной незнакомке.

Перебегая от угла к углу, боясь быть обнаруженным, я не раз, казалось, терял его, то в изогнутых переулках около Плющихи, то идя по набережной по пути к Потылихе. Однако всякий раз замечал в отдалении сгорбленную спину и снова устремлялся в преследование.

Мы вышли к пустырям на задах Новодевичья монастыря. Вечерело. Сизая дымка тумана, поднимавшегося с прудиков у монастырских стен, застилала крепостные башни. В воздухе на красном закатном небе кружились с криком гигантские стаи тысяч ворон... мне казалось, что сейчас, именно сейчас произойдет что-то необычайное, страшно необычайное... Стулая фигура старика, пробиравшаяся среди зарослей бурьяна, начала плясать в моих глазах...

Однако ничего не случилось, и как только вышли на берег против устья Сетуни, старик подошел к небольшой группе домов, остановился, вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел в дом. Через несколько минут в одном из окон второго этажа загорелся свет.

Я подошел почти вплотную к домику и, чтобы не привлекать ничьего внимания, залег в заросли крапивы, ошпарив изрядно левую руку. Лежал, не спуская глаз с двери и засветившегося окна. Было видно, как человеческая фигура ходила по комнате, и тень ее пробегала по потолку. Потом задернули занавеску.

Сумерки сгущались. Вскоре стало совсем темно. Я лежал в своей крапиве как заговоренный, не имея сил встать и чего-то ожидая.

Не знаю, долго ли пролежал я у таинственного дома, если бы меня не вывел из оцепенения женский голос, раздавшийся совсем рядом со мной.

«Гляди-ка, тетка Арина, у табашника-то свет зажжен».

«А ну его, плюгавого, к бесу».

Две бабы, громыхая ведрами, прошли к Москворечью. Я поднялся и пошел домой, обессиленный, взволнованный необычайно.

Теперь сижу и записываю в свою тетрадь события безумного дня, и мне кажется, что из темного угла карла смотрит на меня, прищутив один глаз и посасывая свою трубку.

Жутко и сладостно. Завтра чуть свет пойду караулить старика.

13 мая 1827 года

Краска стыда заливает мои щеки, а я тем не менее ничего не чувствую... Словно какая-то струна оборвалась в моей груди, и ничего нету... Придя вчера за полночь из-под Новодевичьего, весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости.

Утром проснулся я от стука в свою дверь и увидел всклокоченную голову Емельяна и

около него босоногую девчонку с письмом в руках.

Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, узнав знакомый лиловый конверт, заклеенный зеленой облаткой... Однако вместо радости ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений.

Верочка писала, что в данковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровии, ее беспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву, тем более что приданое белье все уже перешито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам Демонси на Кузнецком.

Еще месяц назад напоминание о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнили бы меня радостью бесконечной, а теперь...

Я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная, куда деть руки и что ей сказать... Вначале она вся покраснелась от счастья и щебетала как канарейка, потом ее сверкающий взгляд начал потухать... Она взяла меня за обшлаг рукава и замолчала. Вместо того чтобы поцеловать, как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам Демонси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура...

...У нее на глазах показались слезы... Она пыталась что-то сказать об усадьбе, отстроенной для ее приданого, но не кончила, расплакалась и убежала. В глубине комнат слышались ее рыдания... и тотчас зашлепали, приближаясь, чьи-то козьи ботинки... Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дому... Заметил только почему-то в прихожей знакомую Верочкину картонку для шляп и рядом кадушку с медом... почему-то они меня потрясли, и сейчас вот вижу их перед глазами, а в душе пустота. Шел как каменный... Как каменный бродил под Новодевичьим, как каменный тщетно лежал у карлова дома в крапиве и вот сейчас пишу и ничего не чувствую... хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое.

Емельян говорит, что Горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Данков.

Но что же я могу сделать, она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души, она одна... Бедная, бедная Верочка! Особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную и так и оставленную, наверно, нераскрытой... Но что же я могу сделать, что?..

5 июня 1827 года

Я безумствую, я сам чувствую, что начинаю сходить с ума... Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже пять раз видел ее, но чего это мне стоило, к чему это привело...

Родственники мои обеспокоены, держат меня в наблюдении. Сначала зачастил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая, со шнурами венгерская куртка, сизые подусники и висящая на нитке полуоторванная пуговица верхнего кармана не привели меня в неистовство и я не наговорил ему дерзостей.

Немедля на моем диване появилась вздыхающая Евпраксия Дмитриевна, нестареющая прелестница пудов на восемь весу, та самая, которой мы в детстве так любили на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахат-лукум. Затем из облаков московского Олимпа выплыл сам князь Борис... И как бы невзначай, чуть ли не каждый день, стал забегать на две понюшки табаку добрейший Карл Августович, наш медикус и светило.

Не имея, по причине субординации, никакой возможности отделаться от непрошенных гостей, я начал было вояжировать через окно буфетной комнаты к Евсегнеевым на двор и по задам к Сивцеву Вражку, но окончательно сгубил этим делом свою репутацию; был выслежен, и Евсегнееву приказано было спустить с цепи Полкана.

Пути отступления сузились, и далеко не каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лежа в своей крапиве, я был обречен на отчаяние и терзание...

Часто я целыми днями лежал бесцельно, дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст, и вечером в окнах не зажигалось света.

Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, запотелые окна освещались, и я мог видетьдвигающиеся тени... Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это.

Иногда же, и не было тогда пределов моему счастью, дверь отворялась. Сгорбленный карла, без шапки, с горящими глазами, выходил и останавливался в ожидании, и через минуту... как бы не замечая его, выходила она, всегда неожиданная, всегда прелестная... всегда в том же платье со сверкающим ожерельем.

Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому, и карлик сопровождал её в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь...

Желая разгадать тайну, страшась быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами из-за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом.

Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня, и я с трепетом всматривался в прохожих, боясь встретить знакомых и поразить их своею стремительностью.

Однажды, когда я перебежал через Знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия.

Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг...

Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же.

Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве карла, и ничего больше... Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительней исчезновение это было, очевидно, неожиданно для самого ее охранителя.

Старик обычно останавливался как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более и с хмурым видом поворачивал назад... а я бежал, чтобы не попасться ему на дороге. Забирался в какой-нибудь кабак и в ужасе восторга и отчаяния забывался в винных парах, ища в опьянении удержать в своем взоре тонкую линию шеи и пряди волос, стелющиеся по ветру...

13 июня 1827 года

Я не могу больше... Мозг мой немеет... В глазах все застилается дымкой... Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты.

Сегодня часов в пять мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей, и, стравив приставленного ко мне кузена Кондаурова в пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиняков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный колибер и бил несчастного ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла.

Передо мною стояла новая задача... Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает.

Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме закрипели ступени, открылась дверь, и склоненный старик пропустил Юлию, я был сегодня уверен, что ее зовут именно так.

Я последовал за ними, на этот раз по направлению к Плющихе, мы вышли к Москве-реке, шли по Садовой, шли по Кречетникам, и за углом у Спаса около коковинского дома девушка исчезла.

Старик, как обычно, постоял некоторое время на месте и потом с опущенной головой

поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом и, когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами... Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой, и действительно, вскоре он отпер большим ключом дверь одинокого домика, и через минуту в окне затеплился свет и забегали тени... Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней... Через полчаса свет внезапно погас... заскрипели ступеньки, карла вышел на улицу, и (мозг мой теряется, руки вновь начинают дрожать) в открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкало ее ожерелье, вновь улыбалась она кому-то, проходя мимо моего логовища.

Я следовал за ними недолго, в Ростовских переулках она пропала, а через час в лунном свете осенней ночи она вновь, в третий раз, вышла из одинокого домика у Девичья монастыря на берег Москвы-реки... Я не имел сил следовать за дьявольской четой и, потрясая кулаками и призывая небо в свидетели, всю ночь пробегал по московским улицам, пока не наткнулся на Кондаурова, также всю ночь бегавшего по Москве в поисках за мною.

14 июля 1827 года

Я рассказал им все... Я не мог больше скрывать. Мы варили пунш. Послали за Протыкиным, и я, дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающее горло, день за днем, шаг за шагом, рассказывал им свои терзания, а Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина.

Карл Августович поминутно хлопал себя по коленам и восклицал: «Ach! Mein Gott!» А Кондауров, дымя конногвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое.

К утру они поклялись выручить меня и, если нужно, силой раскрыть дьявольское наваждение... Светает... Тушу свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями...

16 июля 1827 года

Насколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло так... Должно быть, так... Протыкин и Ванька Кондауров выскочили из своей засады, прямо на карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и, как сомнамбула, неизвестно кому улыбаясь, продолжала свой путь.

В два прыжка я был около нее... Дрожь охватила все мое тело, и какой-то дьявольский трепет наполнил душу... Она была прекрасна, как никогда, сверкающее ожерелье поднималось на мерно дышащей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья. Я сорвал с головы свой цилиндр и бросил его далеко прочь. Шел почти рядом с ней, и все кругом наполнялось биением моего сердца... Сначала молчал, потом начал говорить что-то бессвязно, прерывно. Она заметила меня, наклонила голову и улыбалась.

Мы вышли к стене Новодевичьего, туда, где аллеи лип спускаются к прудам... Какие-то птицы кружились между ветвей... Я взял ее за руку, холодную, как лед... Она остановилась, посмотрела на меня влажным, невидящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки.

Не помня себя, я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ.

В тот же миг, как бы в порыве ветра, ее волосы взвились куда-то; глаз, бывший перед моим глазом, куда-то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту, упал бы, наверное, и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник.

Когда я очнулся, передо мной стоял батюшка и тряс меня за шиворот... А сзади Емельян еле сдерживал взмыленного Замира.

А теперь, вот уже второй день, я сижу на ключе... Батюшка гневается... Трясущийся от страха Карл Августович ставит мне к затылку кровососные банки, и за дверью слышно, как Евпраксия Дмитриевна поговаривает о горячей рубашке... Меня бьет лихорадка.

Но клянусь всеми святыми, что я разрушу эти дьявольские козни и спасу Юлию. Мою околдованную невесту. Мою единственную, мою вечную...

18 февраля 1828 года

Уже второй день, как я могу сидеть в кровати и даже писать. Кругом все тихо... уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут на снежных сугробах, и тишина данковских палестин, как целительный бальзам, врачует мою душу.

Верочка не отходит от меня... Поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождения Телемака... Милая девушка презрела все сплетни и московские толки и как обрученная невеста выпросила у батюшки сопровождать меня в данковскую деревню. И вот, благодаря ей, я поправляюсь... Кругом все тихо... Слышно, как в столовой тикает маятник английских часов, да скрипят половицы, когда кто-нибудь идет через залу.

Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верочка положит на стол свое вязанье (она сидит в столовой у окна), отворит дверь и придет ко мне... поэтому все так спокойно, так безмятежно... Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен.

Сегодня я выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную повесть и вот пишу.

Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я, запертый батюшкой, сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии которого я не мог тогда и подозревать.

В ту же ночь я вырезал при помощи алмаза, бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и, сжимая в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьим.

В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывавшей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силою проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тиши услышал знакомые стонущие вздохи... Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве вслед за исчезающей Юлией... Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы, поднял тесину с мосточка, перекинутого через овраг, приставил ее к крыльцу и с возможной тихостью, засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске кверху и прильнул глазами к окошку.

Диковинное, не забываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на низком диване и ожесточенно курил... Из глубины его трубки невиданной спиралью поднимался необычайный дым — густой, светящийся.

Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу.

Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человеческой фигуры... В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи. Но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуе... Она распалась, и только мелкие обрывки дыма волчками побежали по полу.

Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение, и я весь задрожал — из дымовых струй возникли очертания Юлии, очертилось знакомое плечо, засверкало ожерелье, волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия вздрогнула и стала быть.

Я готов был ворваться в комнату, но старик вдруг дико захохотал и ударил ее по голове своей трубкой. Видение рассыпалось, и я, в ужасе содрогнувшись, сорвался с подоконника и

полетел вниз.

Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню отрывочно и не вполне ясно.

Очнулся я от стука двери... Как в прошлый раз, как в двадцать прошлых раз, Юлия вышла и направилась к Москве, и старый карла заковылял за ней.

Вскоре они скрылись за углом дома. Я не последовал за ними, но вновь поднялся вверх, выдал стекло и в каком-то пароксизме безумия ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами, дико хохоча и рвя на себе волосы... Мое бешенство кончилось только тогда, когда застучала дверь и по лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и, должно быть, упав на землю, снова лишился сознания.

Когда сознание вернулось ко мне, дом пылал, как костер, а вдали среди ив по направлению к Новодевичью бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что повредил при падении ногу.

Старик бежал прямо к Пречистенской башне, его стон был слышен далеко издали, но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что он хочет топиться, и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога.

Уже светало. Предрассветный туман белесоватым платом висел над водой, последние листья деревьев шорохом отвечали порывам ветра... Старик пропал... Я долго искал его у пруда и наконец, когда уже почти совсем рассвело, увидел, что его следы подошли к каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды... Отверстие водостока было очень широко, и я на четвереньках свободно последовал вслед за отпечатками следов... Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз...

Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза и началась лихорадка. Что делать, таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождения Телемака и дремать...

22 февраля 1828 года

Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом была желтая трава. Я начал бродить среди могил, весь дрожа от лихорадки и пережитого волнения... Боль в ноге усилилась, ныло плечо... Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленные рыдания. Прислушался и пошел по направлению звуков... Вскоре я мог уже различить его фигуру... Он лежал, содрогаясь рыданиями, на большой могильной плите... Я подошел поближе... Жалкий старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому, покрытому мхом камню, рыдал в последнем отчаянии.

Я подошел вплотную к могильной плите, и кровь застыла у меня в жилах. Посредине плиты был вырезан на камне круглый медальон... Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль... Я затрясся всем своим существом — это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все и упал без чувств.

Утром батюшка разыскал меня почти бездыханного среди могил Новодевичья монастыря, около плиты, все подписи которой и барельеф были изрублены и уничтожены тут же валявшимся топором... около плиты рос большой старый вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик.

И сколько он не сто...

Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика и Юлию... Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя жenuшка, и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь.